

ПАВЕЛ СМОЛИН



# ФЮЗЕЛЯЖ ДЕРЖИТСЯ



Павел Смолин  
**Фюзеляж держится**

«Автор»

2026

## **Смолин П.**

Фюзеляж держится / П. Смолин — «Автор», 2026

Майор Карпухин погиб в небе — и очнулся в тесной кабине И-16. Июнь 1941 года. Другой мир, другая война, другой самолет. Никаких ракет «воздух-воздух». Никаких радаров. Только ревущий двигатель, два пулемета, фанера, металл — и немецкие асы в небе. Для окружающих он молодой советский летчик, которому просто повезло выжить. Но Карпухин слишком хорошо знает, что ждет страну впереди. Знает цену ошибок. И знает, как страшно горит подбитый самолет, когда фюзеляж уже едва держится. Вот только изменить ход войны — мало. Нужно самому выжить в сорок первом. И каждый новый вылет может стать последним.

© Смолин П., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Павел Смолин

## Фюзеляж держится

### Глава 1

#### Глава 1. Холодная вода

Рыба не клевала.

Я сидел на носу арендованного катера, смотрел на поплавок и думал что это нормально. Рыба вообще не обязана клевать. Я сюда не за рыбой приехал.

Ноябрь в Псковской области — это не погода, это диагноз. Серое небо, серая вода, воздух плюс два и падает. Камыш на берегу жёлтый, мёртвый, стоит без движения. Тишина такая что слышно как вода плещет о борт — негромко, одно и то же, без остановки. Термос с кофе тёплый, удочка в руках, больше ничего.

Я налил кофе. Кофе пах нормально. Хорошо.

Три кампании за плечами. Сирия, потом ещё раз Сирия, потом одна командировка про которую не в документах и не вслух. Тысячи часов в небе. Живой — что само по себе статистически странно, если думать об этом трезво. И вот: ноябрь, серая вода, поплавок стоит как вкопанный. Смешно что единственное место где я нормально сплю — вода. Не небо, не земля. Вода.

Поплавок стоял.

Я смотрел на него и ни о чём не думал. Это, собственно, и было целью всей поездки.

Катер был дрянной — я понял это ещё когда принимал. Краска вспузырилась по бортам, доски на носу потемнели и набухли, арендодатель суетился больше чем нужно и клялся что спасжилет есть, вот прямо сейчас найдёт. Я не стал ждать пока найдёт. Лень было скандалить. Пять километров до берега, вода плюс три, ноябрь — в жилете или без, разница не принципиальная.

Это я, конечно, зря решил.

Вода появилась под ногами в семь двенадцать утра.

Я посмотрел на часы машинально — как смотришь на приборы при нештатной. Щель в днище, доска разошлась. Вода чёрная, холодная, сочилась быстро — не струйкой, пластом.

Оценил ситуацию.

До берега пять километров. Вода плюс три — может четыре, разница несущественная. Мобильный в кармане — уже в воде, уже бесполезен. Спасжилета нет, арендодатель соврал, это я уже знал. Можно попробовать грести к берегу на тонущем катере — вёсла есть, катер ещё на плаву.

Попробовал. Не вышло.

Катер уходил быстрее чем я рассчитывал — не одна доска, понял я когда вода дошла до колен. Корпус гнилой весь, просто расходился по швам. Я успел снять куртку и один сапог — зачем, не знаю, инстинкт — и прыгнул за секунду до того как катер лёг на борт.

Вода была как удар кулаком.

Не больно — хуже. Тело поняло раньше головы что это серьёзно. Дыхание перехватило, мышцы сжались разом, руки и ноги стали ватными. Я плыл к берегу. Пять километров — это очень много. Я это знал.

Холод шёл изнутри. Не снаружи — изнутри, как будто его включили на полную мощность. Мысли становились медленнее — не тупее, именно медленнее, как процессор на холоде. Руки ещё работали. Потом стали хуже. Потом совсем плохо.

Я думал: идиотский способ умереть.

Не героический. Не случайный — именно идиотский. Три кампании, живой, а умираю в ноябре в Псковской области потому что поленился проверить спасжилет у левого арендодателя. Даже обидно не было — просто факт, и факт этот был до странности смешным.

Потом стало темно.

Не темнота — выключили. Просто раз, и всё.

Сначала — звук.

Рёв мотора. Очень близко, снизу и справа, вибрация идёт через что-то твёрдое под спиной. Запах другой: масло горячее, бензин, кожа, что-то кисловатое — пороховые газы. И ещё один звук который я опознал раньше чем успел подумать, раньше чем понял где нахожусь — пулемётная очередь. Не по мне. Рядом, чуть выше, уходящая вправо.

Я открыл глаза.

Небо. Голубое, без единого облака, яркое — не псковское, другое, южное, густого цвета. Потом — остекление фонаря прямо над лицом, очень близко, почти касается шлема. Потом — приборная доска.

Не та.

Я смотрел на неё долю секунды — и за эту долю секунды тело уже что-то делало. Руки были на ручке управления и на секторе газа, ноги стояли на педалях. Всё это работало без моего участия — само, правильно, уверенно. Я это чувствовал по тому как машина слушалась: плавно, без рыскания.

Кабина была крошечная.

Фонарь почти вплотную к голове, плечи почти касались бортов, привязные ремни затянуты туго — грудь сдавлена. Я привык к другому: широкое кресло, полметра пространства в любую сторону, панорамный обзор. Здесь всё вплотную, всё маленькое, всё другое.

Приборная доска — аналоговая. Альтиметр, указатель скорости, обороты мотора, температура масла, давление масла — стрелки, циферблаты, никаких экранов. Я искал HUD — не нашёл. Искал индикатор на стекле — не нашёл. Ниже, под рукой — гашетка пушек и пулемётов, деревянная на ощупь.

Это был И-16.

Я понял это не потому что узнал — я видел И-16 только в музеях и на фотографиях. Я понял это потому что руки знали. Они знали этот самолёт как знают знакомый инструмент, знали каждый рычаг и каждую педаль — и они продолжали делать правильные вещи, пока голова пыталась разобраться что происходит.

Скорость — около четырёхсот сорока. Высота — две тысячи. Мотор звучит ровно, температура масла нормальная. Топливо — на час, может больше.

За три секунды.

За четвертую — я увидел Vf-109.

Он заходил сзади-справа, метров с двухсот пятидесяти, чуть выше. Я увидел его боковым зрением и тело отреагировало раньше головы — резкий левый крен, левая нога вперёд до упора, ручка от себя. Машина завалилась в скольжение, нос пошёл вниз. Очередь прошла правее и выше — я её слышал, тонкий треск, далеко.

Выровнял машину. Первый раз нормально вдохнул.

Руки знали что делать. Это было странно — не страшно, именно странно, как будто управляешь чужим телом которое умеет то чего ты не умеешь. Движения были не мои: короче, резче, всё через физическое усилие — никакой электроники, никакого fly-by-wire, чистая механика. Педали тугие. Ручка требовала силы. Я привык что самолёт помогает тебе — этот не помогал, этот требовал.

Надо было разобраться с обстановкой.

Где я — не знаю. Под крылом зелень, поля, река блестит далеко слева, деревня на горизонте. Лето, тепло — я чувствовал это даже сквозь кабину. Где аэродром — непонятно. Где остальные — тоже непонятно. Куда лететь — совершенно непонятно.

Немец разворачивался.

Я видел как он уходит вправо по пологой дуге, набирает скорость для второго захода. Работает методично. Первый раз промазал, не расстроился, перестраивается — профессионал.

И тут у меня в голове что-то щёлкнуло.

Не больно. Просто щёлкнуло — и я вдруг знал как зовут инструктора по технике пилотирования в Каче. Ерохин Василий Фёдорович, лысина, усы, никогда не повышал голос и от этого было страшнее. Знал запах столовой в училище — перловка и хлеб, всегда одно и то же. Знал что мама маленькая, в очках со смешными дужками, что она учительница русского языка, что на вокзале плакала и делала вид что не плачет, что он обещал написать как долетит и не написал ещё — третий день, всё не до того.

Меня звали Пётр Ковров. Девятнадцать лет. Третий день на фронте. Качинское авиационное училище, выпуск сорок первого года, налёт сорок два часа, из них двадцать восемь на И-шестнадцатом. Мама — Анна Петровна, учительница, Саратов. Лучший друг — Гоша, там же остался.

Я — Фёдор Карпухин, тридцать восемь лет, подполковник — это не ушло. Просто рядом появилось ещё что-то. Не вместо. Вместе. Два человека в одной голове, и один из них умел воевать на этом самолёте.

Немец заходил снова.

Думать было некогда.

Vf-109E. Эмиль. Максималька около пятисот семидесяти, у меня на бумаге четыреста шестьдесят, в реальности с боевым снаряжением — меньше. В скорости проигрываю, на вертикалях тоже. Но И-16 маневреннее на горизонтальных виражах — это я знал как Фёдор из истории авиации, и знал как Пётр из учебников в Каче. Немец в карусель не полезет. Будет работать с вертикали: атаковать, уходить вниз или вверх, не давать себя затянуть в ближний бой.

Он зашёл сверху-сзади, стандартно.

Я не стал уходить скольжением — резкий правый разворот навстречу, под него. Машина просела на вираже, перегрузка вдавила в сиденье — непривычная, другая чем я помнил, резче и злее. Немец промазал, прошёл надо мной с запасом, потянул вверх.

Я потянул за ним — зная что не догоню, просто чтобы он не набирал высоту спокойно. Он понял, отвалил в сторону. Мы разошлись метров на шестьсот.

Три секунды смотрели друг на друга.

Немец оценивал. Я оценивал. Топлива у меня на час, аэродром неизвестен, ориентиров нет, и с каждой минутой боя ситуация не улучшается. Затягивать нельзя.

Он, похоже, тоже решил не затягивать — или у него тоже были причины не задерживаться. Убрал газ, лёг в пологое пикирование и ушёл на восток. Не отступил — выбрал. Разница есть.

Я смотрел ему вслед секунды три.

Потом перевёл взгляд на приборы — топливо, высота, курс — и начал думать как найти аэродром.

Память Петра отдала нужное аккуратно, как вытаскивают нужную страницу из стопки. Он был здесь три дня — успел запомнить дорогу к полосе: река слева, потом железная дорога, полоса ориентирована с запада на восток, к ней ведёт грунтовая дорога через поля. Дым над деревьями с утра — это кухня.

Я лёг на курс.

Аэродром нашёл с третьего захода — полоса маленькая, хорошо замаскирована, с воздуха почти не видна. Несколько самолётов укрыты маскировочными сетями у края поля. Дым идёт из-за деревьев — кухня или что-то горит, не разобрать. На горизонте, километрах в тридцати, чёрный столб. Там горит что-то большое.

Я зашёл на посадку.

Касание вышло жёсткое.

Машина требовала другого выравнивания — раньше, плавнее, с более длинным выдерживанием у земли. Я понял это в момент касания, когда хвост ударил раньше чем надо. Самолёт трянуло, занесло вправо — я поймал педалью, удержал. Прокатился по полосе и остановился в конце.

Сидел секунд пять.

Потом открыл фонарь — с усилием, заедал — и вылез на крыло.

Земля под ногами была тёплая и твёрдая. Пахло травой, горячим маслом и летом. Я посмотрел на руки — чужие, уже в плечах, без мозолей которые должны быть у пилота с тысячами часов налёта. Девятнадцать лет, сорок два часа. Три дня на фронте.

Июнь сорок первого.

Я это знал — Пётр знал, он был здесь. Знал и я — из учебников, из документальных хроник, из книг которые читал когда-то. Юго-Западный фронт, лето сорок первого: немцы прут, наши отступают, связь рвётся, приказы опаздывают. Катастрофа.

Одно дело знать.

Другое — стоять на этой земле.

От края полосы уже бежал человек в замасленном комбинезоне — невысокий, широкий в плечах, лицо сосредоточенное. Бежал не с паникой — с деловитостью человека у которого прибавилось работы.

— Цел? — крикнул он ещё на бегу.

— Цел.

Он обошёл машину по кругу — быстро, привычно. Присел у левого крыла, потрогал пробоину. Небольшая дыра в обшивке, сантиметра три. Я её не заметил в бою — значит, поймал в первом заходе, когда уходил скольжением.

— Летать можно, — сказал он. — Дырка маленькая.

— Хорошо.

— Мирошник, — коротко представился он.

— Ковров.

Первый раз назвал себя этим именем. Прозвучало нормально — странно что нормально, но нормально.

Мирошник ещё раз посмотрел на пробоину. Потом на меня.

— Жёстко сел.

— Знаю.

— Машина не любит жёстко. Строгая на посадке.

— Понял. Учту.

Он хмыкнул — коротко, без осуждения — и пошёл за инструментами. Я смотрел ему вслед. Механик, золотые руки, всё понимает про машину — это было видно по тому как он её осматривал. Не тревожно, не торопливо. Как осматривают знакомое и любимое.

Со стороны землянок уже бежал другой человек. Громкий, крупный, улыбался ещё на бегу — широко, искренне, как улыбаются люди которые умеют радоваться чужому везению.

— Петька! — заорал он метров с сорока. — Живой, чёрт тебя дери!

Роман Чуб. Двадцать шесть лет, командир звена, из Полтавы. Это всплыло само — Пётр знал его три дня, но за три дня на фронте узнаёшь человека лучше чем за год в мирное время.

— Живой, — сказал я.

Чуб хлопнул меня по плечу. Зубы стукнули.

— А мы думали всё! Жогин уже доложил — потеряли Коврова, — он смеялся, — а ты вон явился. Как ушёл от него? Видел издали — он тебя прижал.

— Повезло.

— Ну и хорошо. Главное живой. — Он хлопнул ещё раз, чуть осторожнее. — Пойдём, Жогин ждёт. Доложишься, поешь — с утра не жрал поди.

— Не жрал.

— Каша осталась, я велел не трогать.

Мы пошли к землянкам. Я шёл и смотрел: аэродром маленький, грунтовая полоса, несколько самолётов под сетками. Всё временное, всё наспех. Дым от кухни за деревьями. На горизонте чёрный столб — там горит, давно горит, уже густой дым. Что-то большое.

Это было лето сорок первого.

И где-то в Псковской области, в ноябре две тысячи двадцать четвёртого, на дне реки лежал арендованный катер с дырявым днищем.

Жогин стоял у входа в землянку командира. Невысокий, сухой, лет двадцати девяти, руки в карманах. Смотрел как я подхожу — без выражения, просто смотрел. Халхин-Гол, вспомнил я — Пётр слышал от других, не от самого Жогина. На Халхин-Голе Жогин потерял весь свой состав.

Я остановился.

— Товарищ капитан. Младший лейтенант Ковров. Возвратился после воздушного боя.

— Вижу что возвратился. Докладывай по существу.

— Вылет в составе звена. Над Казатином встретили одиночный Vf-109. В бою потерял ведущего из виду. Вступил в бой с противником — два захода, противник промазал оба раза, ушёл на восток. Произвёл посадку.

— Пробоина в крыле.

— Заметил уже здесь. Видимо, зацепил при первом заходе.

Жогин помолчал. Смотрел мимо меня — в сторону полосы, куда-то за деревья.

— Я видел этот бой, — сказал он. — Издали, но видел. Немец тебя прижал хорошо.

— Так точно.

— Ты не должен был уйти.

Не вопрос — утверждение. С ожиданием объяснения.

Я помедлил ровно столько сколько нужно.

— Он зашёл стандартно — сверху-сзади. Я не стал уходить скольжением, развернулся навстречу под него. Промазал. Потянул вверх, я не дал набрать высоту. Он отвалил.

Жогин молчал. Считал секунды — я тоже считал. Четыре.

— В Каче этому учат?

— Читал, — сказал я. — В журнале про испанские бои. Там описывали такой манёвр против более скоростного противника.

Пауза.

— Может быть, — сказал Жогин. — Иди, поешь. Вечером разбор.

Я козырнул и пошёл. Спиной чувствовал взгляд. Он смотрел мне вслед и думал что-то. Что именно — не знаю. Но это был не последний наш разговор на эту тему.

Землянка эскадрильи была врыта в пологий склон — два наката брёвен, вход с поворотом. Внутри темновато, пахло махоркой и сырой землёй. Нары в два яруса, восемь мест, на шести вещи. Я нашёл своё по вещмешку — серый, потёртый, лямка зашита грубо.

Каша стояла в котелке на ящике у стены. Холодная, слипшаяся. Я съел всё.

Пока ел, появились остальные — поодиночке, с полосы и от самолётов. Лыков — широкий, круглолицый, с вечной щетиной, громко поздоровался и громко же сел на нары. Панченко — маленький, юркий, прищуренный — влетел с порога и сразу начал говорить. Мальцев — бледный, тёмный, тихий — прошёл мимо и лёг на своё место с книжкой.

И Коля Басов.

Девятнадцать лет, рязанский, уши немного торчат. Сел рядом со мной, потёр руки о колени. Посмотрел на мой котелок.

— Поел?

— Поел. Спасибо что оставили.

— Это Чуб велел. Говорит — Ковров вернётся, всё равно вернётся, не трогайте кашу.

— Вернулся.

— Вернулся, — Коля кивнул. — Я вот всё думаю как это — первый бой. У тебя не первый уже, третий день, а у меня завтра, наверное, первый. Жогин сказал что поставит меня с тобой в пару.

— Поставит.

— Страшно?

Я подумал секунду.

— Первый раз — непонятно. Страшно — потом, когда уже всё.

— Это как?

— Когда в бою — некогда. Делаешь что умеешь. Страшно потом, когда садишься и думаешь как это было.

Коля переварил это. Кивнул.

— Понял.

Он помолчал. Потом сказал:

— А первый сбитый как?

— Не знаю пока.

— Я хочу первый, — без хвастовства сказал он, просто сказал. — Очень хочу.

За ужином говорили про войну — негромко, без лишних слов. Слухи с соседнего аэродрома, где немцы прорвались, что будет с Киевом, когда подойдут резервы. Картина была катастрофическая. Я знал её лучше всех в этой землянке — из книг, из истории, из документальных хроник. Знал что будет дальше. И вот я сижу и слышу это от живых людей, в живой землянке, за живым ужином.

Одно дело знать.

Другое дело — слышать.

После ужина Лыков достал баян.

Мягкий, потёртый инструмент с одной западающей клавишей — при каждом нажатии она давала чуть запоздалый звук. Лыков это знал и обходил её, играл вокруг. Сначала «Катюшу» — тихо, без пения. Потом что-то своё, медленное. Панченко подпевал вполголоса, слов не знал, мычал мелодию.

Мальцев лежал с книжкой, не читал — слушал.

Коля Басов смотрел в потолок.

Жогин снаружи что-то сказал Чубу, Чуб ответил — неразборчиво, но по интонации ясно что согласен.

Я лежал на нарах и слушал баян с западающей клавишей и думал: надо запомнить всех. Надо не делать ошибок. Надо быть Петром — или хотя бы достаточно похожим на Петра чтобы не задавали лишних вопросов. Надо держать в голове кто такой Сурин и когда он появится. Надо написать Анне Петровне.

Надо выжить, в конце концов.

Баян играл. Клавиша западала и запаздывала. Где-то далеко на западе что-то глухо ухнуло — раз, другой. Потом тишина.

Потом снова баян.

Ночью я не спал.

Лыков храпел ровно — как мотор на крейсерских оборотах, без изменений. Панченко что-то бормотал и переворачивался. Мальцев лежал тихо. Коля Басов спал на спине, лицо молодое, без единой морщины.

Девятнадцать лет.

Я смотрел в потолок — брёвна, глина между ними, в одном месте торчит корень, — и разбирал ситуацию методично. Как разбирают нештатную: что произошло, что имею, что надо делать.

Версию «сумасшествие» проверил и отложил. Слишком много деталей, слишком физично — боль в плече от перегрузки в последнем вираже настоящая, ноет. Запах в землянке настоящий. Еда в котелке была холодная и слипшаяся, и была настоящей. Это реальность. Какая, почему, каким образом — отдельный вопрос, он подождёт.

Что я знаю как Фёдор.

Три кампании, тысячи часов налёта, Су-27 потом Су-30 потом Су-35. Знаю тактику воздушного боя — и нашу, и немецкую, знаю почему в сорок первом гибнут так быстро и что надо делать иначе. Знаю историю этой войны — когда что произойдёт, где линия фронта, что ждёт этот фронт через месяц и через год. Это у меня есть.

Что я знаю как Пётр.

Сорок два часа налёта на И-16, руки помнят машину лучше чем голова. Знаю людей в этой землянке — три дня, но достаточно. Знаю аэродром, знаю Жогина, знаю Чуба. Знаю Анну Петровну — маленькая, в очках, пахнет пирогами, плакала на вокзале и делала вид что нет. Знаю что она ждёт письма.

Это тоже у меня есть.

Что надо делать.

Выжить — это понятно, это я умею. Не раскрыться — это сложнее, уже допустил одну ошибку с манёвром которого нет в программе Качи, Жогин заметил. Больше не ошибаться. Использовать то что знаю — аккуратно, дозированно, не вызывая лишних вопросов.

И написать Анне Петровне. Пётр обещал.

Я думал про письмо дольше чем про всё остальное. Странно — выживание понятное дело, с этим я умею. А письмо женщине которую никогда не видел, которая думает что я её сын — это было непонятно совсем.

Снаружи цикады орали. Потом где-то далеко на западе снова загудело — низко, тяжело, много моторов. Бомбардировщики идут куда-то. Не сюда.

Лыков повернулся на другой бок и перестал храпеть.

Тишина стала другой.

Я лежал и слушал. Думал: Пётр Ковров три дня назад лежал здесь и слышал то же самое — цикад, далёкие моторы, дыхание соседей. Что он думал. Наверное что-то своё, девятнадцатилетнее. Про маму, про Гошу из Саратова, про то что хотел на И-шестнадцатый и получил. Получил.

Бумагу я нашёл в вещмешке — один листок, сложенный вчетверо, чистый с одной стороны. Карандаш там же, тупой, пришлось поточить о край нар. Я сел, положил листок на колено.

Снаружи начинало светать — через щели двери шёл серый, почти никакой свет. Половина пятого, может пять. Все спали.

Написал: *Дорогая мама.*

Остановился.

Мама. Слово не моё — у меня мать умерла восемь лет назад в Ростове, я был тогда в командировке и не успел. Но Пётр знал Анну Петровну — знал как она ходит, как говорит, что любит готовить. Маленькая, в очках, пахнет пирогами. На вокзале стояла и махала платком пока поезд не скрылся.

Написал дальше: *Долетел нормально. Живой, здоровый. Воюем.*

Перечитал. Рапорт. Она получит это и поймёт что что-то не так — матери чувствуют такое. Мне нужно чтобы она не почувствовала.

Начал снова.

*Дорогая мама. Долетел нормально, жив. Кормят терпимо, люди вокруг нормальные. Есть один товарищ — Роман, из Полтавы, весёлый. Ты бы его одобрила.*

Остановился ещё раз. Роман Чуб — это правда, Пётр за три дня успел к нему привыкнуть. Чуб из тех кто сразу свой.

*Небо здесь другое, — написал я и сам не понял зачем. — Не знаю как объяснить точнее. Высокое. И цвет другой — не серый как дома, а синий, по-настоящему синий. Наверное, это юг.*

Я смотрел на написанное. Глупо. Зачем я про небо.

Не зачеркнул.

*Не беспокойся. Напишу ещё.*

*Петя.*

Сложил, убрал в карман гимнастёрки. Надо будет узнать у Чуба куда отдавать — там при штабе должен быть кто-то полевой почте.

Снаружи что-то изменилось. Не звук — отсутствие звука. Цикады замолчали разом.

Я успел подумать: это плохой знак, — и тогда завывла сирена.

Я скатился с нар уже когда Лыков орал «тревога». Сунул ноги в сапоги не зашнуровывая, схватил шлем. Снаружи кричали — голоса Чуба, Жогина, кого-то незнакомого. В небе на западе нарастал гул.

Не один самолёт. Много.

Я бежал к своему И-16 и думал только про одно: Мирошник говорил что пробоина маленькая, летать можно. Значит машина готова. Значит в воздух.

Мирошник уже был у самолёта — непонятно откуда и как успевал раньше всех.

— Готова, — сказал он.

— Добро.

Я полез в кабину.

Небо на западе было светлым — рассвет, солнце ещё не встало, но уже светло. И в этом светлом небе я увидел их: три звена по три, высота около трёх тысяч, идут прямо на нас. Ju-88. Под ними, ниже и чуть сзади, несколько точек — прикрытие.

Мотор схватился с четвёртого качка. Мирошник говорил что машина любит прогрев — некогда, пойдёт так.

Жогин уже выруливал на полосу.

Я пристроился вторым.

Коля Басов — третьим, видел краем глаза. Живой пока Коля. Все живые пока.

Машина разгонялась по грунту, подпрыгивала на неровностях, потом колёса оторвались и внизу осталась земля. Я убрал шасси. Жогин впереди набирал высоту.

Небо было синим. Настоящим, южным.

Я шёл за Жогиным и думал: это моё небо теперь. Другого нет.

## Глава 2

### Глава 2. Полк

Перехват вышел короткий.

Ju-88 шли тройками, плотным строем — восемь машин, под ними четыре Vf-109 прикрытия. Жогин повёл эскадрилью наперерез, на встречных курсах, чтобы сбить темп атаки и не дать бомберам нормально лечь на боевой курс. Расчёт простой и злой: в лоб никто не любит.

Я шёл третьим, за Жогиным и Чубом. Следил за ведущим, за прикрытием, за горизонтом — три направления одновременно, это вбито намертво. Vf-109 попробовали отсечь нас от бомберов, Жогин не дал — вломился прямо через их строй, мы за ним. Короткая свалка на встречных, треск пушек, кто-то из немцев ушёл вниз — подбит или уклоняется, не понять.

Ju-88 рассыпались.

Не сразу — сначала попробовали удержать строй, потом передний ведущий потянул влево, за ним потянулись остальные. Разворот. Бомб они не сбросили — ни на аэродром, ни куда-нибудь ещё. Ушли.

Чуб на земле орал что надо было их догнать, у него ещё патроны были, ну зачем же уходить, вон они летят. Жогин стоял рядом и молчал. Смотрел на Чуба. Чуб постепенно замолк.

— Патроны беречь, — сказал Жогин и пошёл к командирской землянке.

Чуб посмотрел ему вслед, потом на меня.

— Ну и правильно, — сказал он. — Я так и думал.

Мирошник ждал у самолёта.

Не бегал, не суетился — стоял и ждал, пока я зарулю и выключу мотор. Пока я выбирался из кабины, он уже обходил машину по кругу — привычно, методично, руки в движении. Постучал по обшивке в нескольких местах. Присел у левого крыла, посмотрел на пробоину — ту, что я поймал вчера. Дыра маленькая, он сам же и говорил.

— Дырка на месте, — сообщил он.

— Вижу.

— В бою не добавилось?

— Нет.

Он встал, вытер руки о ветошь которая торчала из кармана комбинезона. Посмотрел на меня — не долго, но внимательно.

— Левый ШКАС, — сказал я.

Мирошник остановился.

— Что левый ШКАС.

— В бою заметил — бьёт чуть ниже прицельной линии. Немного, но заметно. Первая очередь по Ju-88 ушла ниже чем я целил.

Он помолчал секунду. Потом снова посмотрел на меня — на этот раз иначе. Не как смотрят на пилота — как смотрят на человека который сказал что-то неожиданное.

— Курсанты обычно просто жмут гашетку, — сказал он.

— Знаю.

— И не замечают куда летит.

— Замечаю.

Мирошник помолчал ещё. Потом кивнул — коротко, сам себе, как будто принял какое-то решение.

— Посмотрю крепление, — сказал он. — К вечеру поправлю.

— Добро.

Он уже шёл к инструментам, когда я добавил:

— Там ещё правый педальный узел немного люфтит. Не критично, но есть.

Мирошник остановился. Не обернулся — просто остановился. Постоял секунду. Потом пошёл дальше, уже не говоря ничего.

Это, наверное, было его способом сказать что он услышал.

Доклад я давал Чубу — Жогин был занят с командирами других эскадрилий, Чуб за него. Стояли у входа в землянку, Чуб слушал и кивал, иногда переспрашивал детали. Я говорил словами Петра — коротко, по форме, стараясь не использовать терминологию которой в сорок первом ещё нет или которая выдаст лишнее. Пару раз споткнулся, поправил себя на ходу.

Чуб ничего не заметил. Или заметил и не показал — с Чубом было непонятно: он казался простым и открытым, но это могло быть и маской.

— Нормально, — сказал он когда я закончил. — Иди поешь. Вечером разбор.

— Есть.

— И — Ковров.

Я обернулся.

— Ты первый раз на таком перехвате?

— Да.

— Нормально держался, — сказал Чуб. — Не потерялся, в строю был. Жогин видел.

Он уже уходил, не ожидая ответа. Это была похвала — немногословная, без лишних слов, именно такая.

В землянке за завтраком — вернее за тем что осталось от завтрака, потому что тревога подняла всех до еды — было шумно. Лыков жевал хлеб и рассказывал что видел как один Ju-88 уходил с дымящим мотором, вот прямо точно дымил, и надо было его догнать. Панченко говорил что это был не дым а выхлоп, у Ju-88 с одного двигателя всегда выхлоп при наборе мощности, он читал. Лыков говорил что Панченко читал не то. Панченко говорил что Лыков вообще ничего не читал.

Коля Басов ел молча и смотрел то на одного то на другого.

Мальцев — бледный, тёмный, тихий — сидел в углу и писал что-то в маленькой тетрадке. Он всегда что-то писал. Стихи, говорили. Никто не лез.

Я ел перловку и слушал. Карпухинская часть меня отмечала детали — кто как держится, кто что говорит, кто за едой молчит, кто смеётся. Полезная информация, потом пригодится. Ковровская часть просто была дома — эти люди были знакомы, три дня это немного, но всё равно.

— Анекдот, — объявил Панченко.

— Опять про Гитлера и Чемберлена? — спросил Лыков.

— Новый.

— У тебя все анекдоты новые и все одинаковые.

— Этот другой. Значит, встречаются Гитлер и Муссолини. Гитлер говорит: «Дуче, я завоюю весь мир». Муссолини говорит: «А мне что останется?» Гитлер говорит: «Тебе оставлю Италию».

Пауза.

— И что? — спросил Лыков.

— Всё. Смешно же.

— Где смешно?

— Ну — Италию. Они же союзники. А он ему — Италию.

Лыков подумал.

— Не смешно, — решил он.

— Очень смешно, — не согласился Панченко. — Просто ты не понимаешь.

Коля Басов хихикнул. Панченко просиял.

— Вот! Ковров, смешно?

— Терпимо, — сказал я.

— Вот — терпимо. Уже двое. Большинство.

— Нас четверо, — заметил Лыков.

— Мальцев, — позвал Панченко. — Смешно?

Мальцев не поднял головы от тетрадки.

— Не знаю, — сказал он. — Я не слушал.

Панченко развёл руками — видишь, мол, с кем приходится работать. Лыков откусил хлеба. Коля Басов улыбался ещё — ему было смешно, просто он не хотел окончательно сдавать Лыкова.

Хорошие люди. Живые.

Я ел перловку и думал что надо выучить их всех — не как имена в списке, а как людей. Кто как реагирует, кто на что злится, кто первым выйдет из строя если что пойдёт не так. Это важнее тактики.

После ужина Жогин вызвал меня.

Не сразу — сначала был разбор вылета, общий, эскадрилья стояла полукругом у командирской землянки. Жогин разбирал коротко: что сделали правильно, что нет, на что обратить внимание. Меня не трогал — я был на хорошем счету после первого боя, да и в перехвате держался в строю. Прошёлся по другим: Лыков чуть запоздал с разворотом на отходе, Панченко потерял ведущего на пять секунд в свалке — мало, но было.

После разбора кивнул мне: останься.

Разошлись. Мы стояли вдвоём у входа. Жогин закурил. Предложил — я отказал. Он кивнул — без комментариев.

— Три дня на фронте, — сказал он.

— Так точно.

— В Каче сколько налетал.

— Сорок два часа.

— На И-шестнадцатом.

— Двадцать восемь.

Он затаился. Смотрел куда-то в сторону — туда где за деревьями садилось солнце. Оранжевое, крупное, южное. Не псковское.

— Сорок два часа — это мало, — сказал он.

— Так точно.

— Тот манёвр вчера. Разворот навстречу под атакующего. Это не в программе Качи — я знаю программу Качи.

— Читал, — сказал я. — В «Вестнике воздушного флота» была статья про испанские бои. Там описывали такой приём против более скоростного противника.

Жогин посмотрел на меня. Не враждебно — оценивающе. Как смотрят на машину перед вылетом: годна, не годна, что может преподнести.

— В Каче читали «Вестник воздушного флота»?

— В библиотеке был подшивка.

— Ты пользовался библиотекой.

— Да.

Пауза. Он докурил, бросил окурок, придавил сапогом.

— Завтра летишь со мной, — сказал он. — Вторым. Держись в ста метрах, ведущего не теряй. Атакуешь по команде — или если заходят на тебя, тогда сам.

— Понял.

— Иди.

Я пошёл. Спиной чувствовал — смотрит. Не подозрительно, просто смотрит и думает. Он не верил про библиотеку. Но у него не было другого объяснения, и пока не было — он принимал моё. Временно.

Значит, надо держаться и не давать других поводов.

Лыков достал баян сразу после отбоя.

Не спрашивал — просто достал из-под нар потёртый футляр, открыл, снял инструмент. Баян был мятый, с одной западающей клавишей — при каждом нажатии она давала чуть запоздалый звук, будто задумывалась на долю секунды. Лыков знал об этом и огибал её, играл вокруг. Получалось всё равно хорошо.

Начал с «Катюши» — тихо, без пения. Просто мелодия, негромко, как будто для себя.

Панченко лежал на нарах и смотрел в потолок. Мальцев убрал тетрадку и тоже лежал. Коля Басов закрыл глаза. Не спал — слушал.

Потом Лыков перешёл на что-то своё. Медленное, протяжное, без названия — может сам сочинил, может услышал где-то и запомнил. Мелодия была простая и немного грустная, и в ней была вся эта землянка, весь этот вечер, всё что было снаружи и чего никто не называл вслух.

— Сыграй весёлое, — попросил Панченко.

— Потом.

— Ну чего грустное-то.

— Не грустное. Просто медленное.

— Одно и то же.

Лыков не ответил — продолжал играть. Панченко ещё раз открыл рот и закрыл. Медленное так медленное.

Я лежал и слушал и думал что надо разобраться с Жогиным. Не сейчас — потом, постепенно. Он будет смотреть, накапливать наблюдения. Это неизбежно — он профессионал и видит что что-то не так, просто не знает что именно. Надо дать ему привыкнуть к тому что Ковров — странный, но свой. Странный — это не страшно. Чужой — страшно.

Клавиша западала, мелодия шла дальше.

Где-то на западе грохнуло — один раз, глухо. Потом тишина. Потом снова баян.

— Лыков, — сказал Коля Басов не открывая глаз. — Ту сыграй, которую в прошлый раз.

— Которую.

— Ну — про степь. Которая медленная.

— Эта и есть медленная.

— Нет, та другая.

Лыков подумал и перешёл на другую мелодию. Коля Басов кивнул с закрытыми глазами.

Я лежал и думал: хорошие люди. Надо их беречь.

Это была не программа — просто мысль. Просто факт.

Следующий день начался с дождя.

Мелкого, упрямого, такого который не льёт а висит в воздухе. Полёты отложили до полудня. Лётчики сидели по землянкам, технари возились у самолётов под навесами. Кузин — стар-

шина по хозяйству, квадратный и хозяйственный — разбирался с каким-то ящиком у склада, что-то считал, что-то записывал.

Я пошёл к Мирошнику.

Не потому что делать было нечего — потому что там было интересно.

Он копался в моторе. Снял капот, разложил инструменты на ветоши в аккуратный ряд. Работал методично, без лишних движений — каждое действие точное, выверенное. Я подошёл, встал рядом, посмотрел.

— Помогать не надо, — сказал он не поворачиваясь.

— Знаю. Смотрю.

Он покосился на меня. Помолчал.

— Смотри.

Я смотрел. М-63 изнутри — другой мир: звёздообразный, девять цилиндров, всё компактно и плотно, каждая деталь на своём месте. Мирошник снял что-то, осмотрел, положил обратно. Снял другое.

— ШКАС поправил? — спросил я.

— Поправил.

— И педальный узел?

— И его.

— Спасибо.

Он не ответил. Продолжал работать.

Я смотрел на мотор и думал что это красивая машина — не снаружи, внутри. Снаружи И-16 некрасивый: пузатый, короткий, с тупым носом. Но внутри — всё на месте, всё продуманно, ничего лишнего.

— Сколько раз ты его перебирал? — спросил я.

— Что.

— Мотор. Сколько раз разбирал.

Мирошник подумал.

— На этой машине — три. До этой — не считал.

— Давно в авиации?

— С тридцать четвёртого.

— Семь лет.

— Да.

Он снял крышку клапана, посмотрел внутрь. Нахмурился. Что-то там не нравилось.

— Этот мотор — хороший? — спросил я.

— М-63 — приличный, — сказал Мирошник без паузы. Это была тема на которую он мог говорить. — Тысяча сто лошадей, надёжный. Капризный в обслуживании, но если за ним следить — работает. — Он взял инструмент, что-то подтянул. — Немецкий лучше.

— ДВ-601?

Он опять покосился на меня.

— Знаешь.

— Читал.

— ДВ-601, — повторил он. — Тысяча двести лошадей, впрыск топлива прямой — не карбюратор. В перевёрнутом полёте не глохнет. — Он помолчал. — Наш глохнет.

— Знаю. Это проблема.

— Большая проблема, — согласился Мирошник. — Немец уходит вниз — ты не можешь преследовать, у тебя мотор чихает. Он это знает.

— Используют.

— Постоянно.

Он закончил с клапаном, взял тряпку, вытер руки. Посмотрел на меня — внимательно, без спешки.

— Откуда знаешь про DB-601?

— Интересуюсь техникой.

— В Каче интересуются?

— Я — интересуюсь.

Он помолчал. Потом сказал:

— У нас был один такой. Ещё до войны, в тридцать девятом. Молодой лейтенант, всё время у самолётов торчал, вопросы задавал. Жогин его гнал — говорил мешает. А он всё равно приходил.

— Что с ним стало?

— Халхин-Гол, — сказал Мирошник. — Сбили в августе. Хороший лётчик был.

Он снова взялся за инструменты. Разговор был закончен — не грубо, просто закончен.

Я стоял ещё немного, потом пошёл.

После обеда дождь кончился, полёты открыли. Жогин поставил меня ведомым — как и говорил. Вылет прикрытия: над дорогой висели немецкие корректировщики, их надо было согнать.

Ис-126 мы нашли быстро — одиночный, летел медленно и спокойно над колонной отступающей пехоты. Высота восемьсот, никакого прикрытия. Жогин пошёл первым, я прикрывал.

Немец попытался уйти — разворот, снижение. Не успел. Жогин поймал его короткой очередью, корректировщик задымил и пошёл вниз. Без взрыва — просто лёг в поле и горел.

Я смотрел как горит и думал что там внутри два человека.

Потом перестал думать об этом и вернулся к слежению за небом — сзади, снизу, сбоку. Это важнее.

Жогин на обратном пути шёл молча. Я держал дистанцию и тоже молчал. Под крылом тянулась дорога — по ней шла пехота, много пехоты, растянулась на километры. Шли пешком, без техники. Брошенная техника стояла у обочины — грузовики, пушки, один танк перевёрнутый в кювете.

Отступление.

Я знал чем оно кончится и когда. Это было одновременно легче и тяжелее — легче потому что знал что кончится, тяжелее потому что знал сколько людей не доживут до конца.

Под крылом шла пехота.

Я смотрел вниз и думал: это не учебник. Это люди.

Вечером в землянке играли в карты.

Чуб организовал — достал затрёпанную колоду, расчистил ящик под стол, поставил свечу. Позвал Лыкова, Панченко, меня.

— Умеешь? — спросил Чуб.

— Умею.

— В дурака или в подкидного?

— В подкидного.

— Отлично.

Правила Пётр помнил телом — карты легли в руки правильно, ходы приходили сами. Чуб жульничал — я заметил на второй раздаче, он снимал карту со стола под видом поправления и брал себе. Лыков тоже заметил, смотрел хитро, ничего не говорил. Панченко не замечал — он вообще не умел хорошо играть в карты, думал медленно и каждый ход переспрашивал правила.

- Панченко, — сказал Лыков. — Ты не можешь крыть козырем когда у тебя не козырь.
- А у меня козырь.
- Покажи.
- Не обязан показывать.
- Обязан — ты сказал что крываешь козырем.
- Ну и крою.
- Бубна — не козырь. Козырь — трефа.
- А-а, — сказал Панченко. — Я думал бубна.
- Ты всегда думаешь бубна.

Чуб смеялся — искренне, заразительно. Взял ещё карту со стола, очень аккуратно. Я сделал вид что не видел.

- Слышали новость? — сказал Чуб, тасуя карты для следующей раздачи.
- Какую.
- В соседнем полку, у Федосеева, появился немецкий ас. За неделю — пятеро наших.
- Один? — спросил Лыков.
- Один. Один немец, пятеро наших.
- Хороший лёгчик.
- Очень хороший. — Чуб раздал карты. — Говорят, у него уже больше сорока побед.

Ехпрте называется, у них так называют лучших.

Я взял свои карты и разложил их. Слушал внимательно.

- Откуда сорок? — спросил Панченко. — Война только началась.
- Не только у нас война, — сказал Лыков. — Он, небось, ещё Францию воевал. И Польшу.

- А, — сказал Панченко. — Тогда понятно.
- Описание есть? — спросил я.
- Чуб посмотрел на меня.

- Что за описание.
- Тактика его. Как работает.
- Откуда мне знать тактику. — Чуб пожал плечами. — Говорят, быстрый очень. С вертикали бьёт и уходит, не задерживается.
- Стандартно для Вf-109F.
- Это новый — Фридрих. У него ещё быстрее.
- Слышал, — сказал я. — Хожу.

Я зашёл семёркой. Чуб покрыл тузом — откуда у него туз, он их уже два взял со стола.

Лыков смотрел на Чуба с нежным презрением.

- Под Киевом строят новую линию, — сказал Лыков.
- Кто говорит.
- Надя из связи. Слышала краем уха.
- Надя из связи всегда что-нибудь слышит, — сказал Чуб.
- И всегда правда выходит.
- Значит строят.
- Значит строят.

Панченко подкинул не ту карту и расстроился. Лыков забрал взятку. За окном землянки было тихо — дождь давно кончился, цикады молчали, только где-то далеко на западе что-то изредка глухо стучало. Привычный звук уже. Фон.

- Ковров, — сказал Чуб. — Ты откуда родом?
- Саратов.
- Далеко. Я из Полтавы. — Он посмотрел в карты. — Девушка там осталась. Написал три письма, ответа нет.

— Может почта плохо ходит.

— Может, — согласился Чуб без особой уверенности. — Или уже не моя девушка. —

Он засмеялся — легко, без горечи. — Лыков, ты мухлюешь?

— Что.

— Ты взял мою карту.

— Я взял свою карту.

— Свою ты уже положил. Я видел.

— Ничего ты не видел.

Они некоторое время смотрели друг на друга. Потом оба засмеялись. Панченко не понял почему смеются, но тоже засмеялся.

— Ладно, — сказал Чуб. — Сдаёмся. Ковров выиграл.

— Я не выиграл ещё.

— Выиграешь. У тебя лицо такое — ты выиграешь.

Он перетасовал карты и убрал колоду в карман. Игра была закончена.

Поздно вечером, когда остальные уже спали или делали вид что спят, Коля Басов подошёл ко мне у самолётов.

Я сидел на краю крыла — Мирошник разрешал, пока не трогаешь ничего лишнего. Тихо, темно, звёзды яркие. Где-то далеко прожектор водил по небу — там, на западе, ловил кого-то.

Коля сел рядом. Помолчал.

— Завтра меня поставят в пару? — спросил он.

— Жогин сказал. Со мной.

— Хорошо. — Он помолчал ещё. — Страшно?

— Что страшно.

— Ну — первый раз в бою.

Я подумал как ответить. Не утешать — Коля не ребёнок, утешения он не просил.

— Первый раз — непонятно, — сказал я. — Делаешь что умеешь, думать некогда.

Страшно потом — когда садишься.

— И долго страшно?

— Минут пять. Потом проходит.

Коля кивнул.

— А если сделаешь что-нибудь не то?

— Что значит не то.

— Ну — растеряешься. Или вместо того чтобы помочь наоборот.

Я посмотрел на него. Он смотрел перед собой — не на меня, в темноту. Серьёзный, сосредоточенный. Не трус — это точно. Просто думает заранее, просчитывает варианты.

— В паре главное одно, — сказал я. — Не теряй ведущего из виду. Всё остальное — вторично.

— Не терять из виду.

— Да. Куда он — туда ты. Что бы ни происходило.

— А если заходят на него — а я не вижу?

— Смотри лучше.

Коля хмыкнул — коротко.

— Просто?

— Просто. Трудно, но просто.

Он помолчал. Потом сказал:

— Я в Рязани хотел учителем физики стать. Три года в институте проучился — потом призвали в лётное.

— Жалеешь?

— Нет. Мне нравится летать. — Он помолчал. — Просто странно — три года учился на одно, а делаю другое.

— Бывает.

— У вас тоже так?

— По-своему, — сказал я.

Он не спросил что значит по-своему. Умный мальчик.

— Мама пишет? — спросил он.

— Написал ей. Ответа ещё нет.

— Моя пишет каждую неделю, — сказал Коля. — Про огород, про соседей, про кота. — Он улыбнулся в темноту. — Про кота подробно очень. Кот у неё важный.

— Как зовут кота?

— Барсик. — Он засмеялся тихо. — Имя — так себе, но кот хороший.

Мы помолчали. Проектор на западе нашёл кого-то — луч остановился, несколько секунд держал, потом потерял.

— Ковров, — сказал Коля. — Можно спросить?

— Спрашивай.

— Вы не похожи на человека который три дня на фронте.

Я не ответил сразу.

— Четыре, — сказал я. — Четвёртый уже.

— Всё равно. Вы — другой. Как будто давно воевали.

Я смотрел на западный горизонт. Там где проектор потерял кого-то.

— Я много читал про воздушные бои, — сказал я. — Интересовался. Вот и кажется.

Коля подумал.

— Может, — сказал он.

Не поверил. Но принял. Умный мальчик.

— Иди спать, — сказал я. — Завтра летим.

Он спрыгнул с крыла, пошёл к землянке. У входа обернулся.

— Ковров. Спасибо.

— За что.

— Ну — поговорили.

Я кивнул. Он ушёл.

Я сидел на крыле ещё минут десять. Смотрел на звёзды и думал что Коля Басов — хороший парень. Рязань, учитель физики, кот Барсик. Не надо ему было идти в лётное.

Потом перестал думать об этом и пошёл спать.

Утром Жогин поставил нас в пару.

Вылет — прикрытие колонны отступающей пехоты, дорога на восток, два часа в воздухе. Я объяснил Коле ещё раз на земле: держись в ста метрах, не теряй из виду, атакуешь только если заходят на тебя или по команде. Коля слушал и кивал.

Мирошник осматривал оба самолёта. Мой — уже проверенный, левый ШКАС поправлен, педальный узел подтянут. Колин — чуть старше, мотор с характером, но в порядке.

— Готовы? — спросил Мирошник.

— Готовы.

Он кивнул и отошёл — без напутствий, без лишних слов.

Взлетели.

Коля держался хорошо — я следил краем глаза. Дистанция правильная, не отставал, не обгонял. Нервничал — это было видно по тому как его машина чуть покачивалась на мелких

воздушных ямах: нервный пилот держит ручку чуть туже чем надо, машина это чувствует. Но нервничал тихо, без лишних движений.

Под крылом тянулась дорога.

Пехота шла плотно, kilometre за kilometre. С высоты двухсот метров это было — много людей и мало техники. Несколько грузовиков, пара лошадиных повозок, много людей пешком. Шли медленно. Шли на восток.

Я смотрел вниз и думал что знаю чем закончится это отступление. Знаю когда немцы остановятся, знаю на какой линии. Это немного. Но немного лучше чем ничего.

По радио Коля молчал — хорошо молчал, дисциплинированно. Раз спросил курс — я ответил. Больше ничего.

Над колонной было спокойно. Немецких самолётов не было. Два часа туда-обратно, без контакта, с посадкой на своём аэродроме.

Коля после посадки сидел в кабине ещё минуты три. Потом вылез. Лицо обычное — не белое, не потное. Спокойное. Может, разочарован что не было боя. Может, рад.

— Нормально, — сказал я.

— Первый раз скучно, — сказал он.

— Бывает.

— В следующий раз — интереснее?

— Не обязательно.

Он кивнул. Пошёл к землянке. У Мирошника за спиной обернулся:

— Ковров. Я не потерял вас из виду.

— Знаю. Видел.

Он улыбнулся — коротко, для себя — и ушёл.

Мирошник стоял рядом и смотрел как он уходит.

— Молодой, — сказал Мирошник.

— Девятнадцать.

— Моему сыну восемнадцать, — сказал Мирошник. И замолчал.

Больше он ничего не добавил. Взял инструменты и пошёл к самолёту. Я смотрел ему вслед и думал что у Мирошника есть сын восемнадцати лет и что Мирошник, наверное, думает об этом каждый раз когда смотрит на Колю Басова.

Это была первая личная вещь которую он мне сказал.

Вечером я написал Анне Петровне.

Второе письмо. Первое ушло — Кузин показал куда относить, при штабе был связной который собирал почту раз в два дня.

Я сел с бумагой и карандашом — карандаш уже поточен, знал что понадобится. Думал минут пять. Потом написал:

*Дорогая мама. Получил ли ты моё первое письмо — не знаю, почта ненадёжная. Пишу второе на всякий случай.*

*Живой, здоровый. Летаем каждый день, иногда по два вылета. Кормят нормально. Вчера была перловка с маслом — это хорошо, не всегда бывает масло.*

*Товарищи нормальные. Роман из Полтавы всё так же весёлый. Есть ещё Коля — молодой, из Рязани, хочет стать учителем физики. Аккуратный мальчик.*

Я остановился. Аккуратный мальчик — это было не Петровское, это было Фёдоровское. Он бы не написал про Колю «аккуратный мальчик». Но пусть — Анна Петровна не знает как он писал раньше. Пусть думает что война изменила.

*Небо здесь хорошее. Много его. Днём синее, вечером — оранжевое и красное, очень яркое. Не как у нас.*

*Не беспокойся. Береги себя.*

*Петя.*

Я перечитал. Нормально. Живое — не рапорт. Сложил, убрал в карман, утром отдам Кузину.

В землянке было тихо. Лыков уже спал. Панченко возился с чем-то в темноте — шуршал. Мальцев писал при огарке свечи, аккуратно, мелкими буквами.

— Стихи? — спросил я тихо.

Он поднял голову.

— Да.

— Про что?

Он подумал.

— Про небо в основном, — сказал он.

Я кивнул и лёг. Хорошая тема, подумал я. Есть про что писать.

Заснул быстро — первый раз за несколько дней нормально заснул. Снаружи была тишина — настоящая, без далёкого грохота. Только цикады.

Хорошая ночь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.